

Р. Б. ТАРКОВСКИЙ

Экспрессивно-стилистические акценты в системе пословного перевода в России XVII в.

Пословная передача иноязычного оригинала как профессиональная норма древнерусского перевода естественно вела к лексически полному отражению текста-источника, к последовательной лексической, а в значительной мере и к конструктивной симметричности перевода оригиналу и к многочисленным структурным и семантическим калькам. Но это совсем не означало неременной скованности переводчика материалами традиционных словарных и грамматических эквивалентов, ни тем более механической подстановки их соответственно компонентам иноязычного предложения. Пословность перевода не исключала ни ситуативно предпочтительного отбора синонимов или даже выхода за смысловые границы передаваемого иноязычного слова, ни отступлений от лексической симметрии текстов, — например, аналитически расчлененного, а то и двойного перевода иноязычного слова или, напротив, его контекстуально компенсируемого поглощения, — не говоря уже о неизбежных грамматических преобразованиях переводной фразы.¹

Однако перевод целостного, тем более сюжетно организованного текста — не перевод изолированных предложений. Не все, что корректно укладывается в пословную передачу отдельного предложения, допускается структурными связями более широкого контекста, — и то, что эквивалентно переводу изолированной фразы, может оказаться так или иначе не совместимым с речевой организацией сверхфразового единства. Поэтому естественно, что в практике профессионального древнерусского перевода пословное следование оригиналу определяет прежде всего симметрию семантически ключевых компонентов предложения, тогда как детальное развертывание переводного текста неизбежно соотнобразуется и со структурно-языковыми, и с повествовательно-речевыми нормами русской письменности. С этой стороны текст перевода регулярно включает единицы, не симметричные иноязычному оригиналу, и далеко выходит за рамки дословного копирования своего источника, хотя и остается в его смысловых пределах.

Таким образом, практика пословного древнерусского перевода в лингвистическом плане неизбежно сочетала как бы два взаимопроникающих начала: обращенное к структурно-семантическому отражению текста-источника как залог полноты и смысловой точности перевода — одно, и

¹ См.: Н. А. Мещерский. Проблемы изучения славяно-русской переводной литературы XI—XV вв. — ТОДРЛ, т. XX. М.—Л., 1964, с. 213—215; Р. Б. Тарковский. О системе пословного перевода в России XVII в. — ТОДРЛ, т. XXIX. Л., 1974. с. 243—256.

стремление приноровить переводной текст к повествовательно-речевым нормам русской письменности как необходимое условие коммуникативной жизнеспособности этого перевода — другое.

* * *

Выполненный в 1607 г. Ф. Гозвинским перевод «Притчей или баснословия Езопа Фриги» обладает всеми признаками профессионально квалифицированного, ученого перевода — тщательным следованием своему греческому источнику и полным отражением текста оригинала. Вместе с тем за пословностью перевода Ф. Гозвинского открываются и более сложные приемы передачи иноязычного текста, ориентированные не только на семантическую равномерность с оригиналом, но и на соотносимость с повествовательно-речевыми нормами развертывания древнерусского текста. Подавляющая масса отступлений от пословной симметрии оригиналу здесь связана с неодинаковой интенсивностью и формами субъектных и объектных, а также локально-обстоятельственных характеристик действия, нормально присущих русской речи, и мерой тех же характеристик в греческом источнике «Притчей» — тексте так называемой Аккурсианы. Повествовательно-речевое приспособление текста «Притчей» достигалось: введением дополнительных, сверх оригинала, значений субъектной отнесенности действия, а также заменой местоименных указаний прямыми именами персонажей и реалий, и, как следствие, большей повествовательно-синтаксической расчлененностью русского текста; включением объектных и локально-обстоятельственных характеристик действия, особенно в случаях конструктивно-речевой недостаточности пословного перевода; устранением в переводе эллиптических оборотов греческого текста и рядом иных форм восполнения русской фразы. Эти расхождения перевода с текстом-источником регулярные, массовые, сквозные. Исполненные по канве пословной передачи греческого оригинала, они не содержат уклонений от его смысла, но они были чрезвычайно существенны для естественной достаточности и свободной ясности славяно-русского текста.

Однако так обеспечивался все же лишь логический остов переводного текста, нечто подобное лингвистически отредактированному подстрочнику, тогда как исследование перевода Гозвинского обнаруживает и другие, более значительные отступления от дословного копирования иноязычного оригинала и приспособление перевода уже не только к структурно-речевым нормам русской письменности, но и к собственно нарративным традициям древнерусской литературы и к художественным вкусам русских читателей. По назначению это обыкновенно элементы экспрессивно-акцентного и композиционного осложнения текста, но нередко перевод допускает мотивы сюжетно-семантического и даже идеологического приурочивания рассказа. При этом многообразие, основательность и вместе регулярность приемов перевода тут поднимаются до целеустремленной и достаточно гибкой системы, за которой, надо полагать, стоит не только высокая личная выучка или стихийный переводческий опыт Гозвинского, но определенная профессиональная школа со своими (пока почти не изученными) цеховыми традициями, требованиями и подходом.

Конечно, каждый из типов повествовательной адаптации перевода предстает достаточно разветвленной серией множества конкретных частных реализаций, однако удобнее их описание начинать с элементарных экспрессивно-акцентных форм в работе русского переводчика.

1. Подчеркивающие репризы и тавтология

а) Логические повторения

На грани между структурно-речевым и экспрессивно-стилистическим приспособлением переводного текста стоят различные формы лексически подчеркивающих повторений в непосредственно следующем повествовательном кадре каких-то элементов предшествующего, к примеру:²

3. Лисица же к нему рече: «Но аще бы ты толико разуму имел, о козле, елико в своей браде имеши власов (ὁπόσας ἐν τῷ πώγωνι τρίχας — 9), не перьев бы ты вшел еси в кладезь!».

Возникая обыкновенно как восполнение пословной передачи оригинала, такие лексические повторы уже не составляли, однако, конструктивно непереносимых элементов развертывания русского текста. При всей близости к требованиям словесной полноты книжной фразы они оставались личными решениями переводчика и служили непосредственной соответственности смежных кадров рассказа:

62. Лву же нашедшу на осла, алектор¹ возгласи. Лву же, глаголют, алекторова гласа боятися, — у боявся лев, побеже (καὶ ὁ μὲν λέων — φασὶ γὰρ τοῦτον τὴν τοῦ ἀλεκτρούου φωνὴν φοβεῖσθαι — ἔφυγεν — 84);

76. Написавшим же неким нечестия ея, и поймаша ю, осудивше, ведоша на смерть. Видев же ю некто ведомо на смерть, рече (ἰδὼν δὲ τις ἀπαγομένην αὐτὴν ἔφη — 56): «О сия, иже божия гневны отвращевати обещающая!...»;

82. Вопрошаше же паки пифика: Пирея знает ли? Разумев же пифик, яко о человеце Пирее се вопрошает (περὶ ἀνθρώπου αὐτὸν λέγειν — 75), рече, яко наипаче друг ему есть и сожитель.

Вместе с тем лексическое тождество повторений неизбежно приводило к эффекту логической репризы, а следовательно, к повествовательной весомости приходящихся на нее элементов информации, что и отличает эти репризы от конструктивно вынужденных интерполяций переводчика как неизбежных форм речевого приспособления русского текста. Отсюда понятна также преимущественная приуроченность репризы к сюжетно переломным либо гномическим вершинам рассказа, например к басенным концовкам:

73. «Но убо не ныне тебе блюстися подобает, егда сему же никакже есть польза, но подобаше ти блюстися прежде поимания» (ἀλλὰ πρὶν ἢ συλληφθῆναι — 48) — T';

95. И от сего времени случися художником всем лгати, — паче же всех множае лжет сапожник (μάλιστα δὲ πάντων τοὺς σκυτέας — 105) — Q.

Что же касается механизма реприз, то по большей части повторения появляются как прямые интерполяции переводчика. Реже подчеркивающие повторения в русском тексте создавались одинаковым переводом обоих членов сопоставления, тогда как в греческом оно было представлено разными словами:

² Источники текста Гозвинского — списки первой редакции перевода, из которых здесь цитируются: ГПБ, собр. Погодина, № 1964 (индексом не отмечается) и № 1604 (далее — II'); ГПБ, Q.XVII.272 (далее — Q) и ГБЛ, собр. Тихонравова, № 229 (далее — T'). Лексические искажения и пропуски исправляются по другим спискам той же первой редакции. Восстанавливаемый текст заключается в квадратные скобки. Цифры перед цитатами означают нумерацию басен в полном тексте перевода Гозвинского.

Греческий текст Аккурсианы и нумерация его басен даны по изд.: A. Hausrath. Corpus fabularum Aesopiarum, vol. I, fasc. 1—2 (cod. III-α). Lipsiae, 1957—1958.

1. Иже дружба разорившии, аще и обидимых убегают отмщения (φύσει τιμωρίαν — 1), неможения ради [обидимых], но божия отмщения праведного не убегают (ἀλλὰ τὴν γε θεῖαν δίκην οὐ διαχρόσονται).

Наконец, переводчику могли принадлежать оба компонента репризы:

82. Кораблю разбившуся и всем плавающим погрузившимся и утопающим, — погрузися утопая и пифик (τῆς δὲ νεῶς περιτραπίσης καὶ πάντων διακολυμβώντων ἐνήχето καὶ ὁ πύθηκος — 75).

Из других структурных особенностей акцентных реприз относительно приметнее использование в них глаголов — той морфологической категории слов, в которых более всего воплощена динамика разворачивающегося конфликта и на которые из 24 реприз текста Гозвинского приходится 18.

Итак, структурная выделенность репризы — в лексическом тождестве повторяемых в ней элементов, функциональная — в приуроченности к тематически связанным мотивам рассказа, сопоставляемым или противопоставляемым в пределах смежных повествовательных кадров на переломных и вершинных точках басенного конфликта.³

б) *Figura etymologica*

К экспрессивно-акцентным структурам перевода Гозвинского должна быть отнесена и так называемая *figura etymologica* — конструкция, связанная с повторением однокоренных слов, но принадлежащих разным грамматическим классам и так или иначе соотносимых в пределах узкого контекста — синтагмы или предложения, — с присущей такой тавтологии акцентом внутренней качественной спецификации. Лишь трижды — это основное копирование аналогичных структур Аккурсианы, к примеру:

126. Ры болов сый неискусен ры боловства (ἀλιεὺς ἀλιευτικῆς ἀπειρος — 11) взял свирели и сети, изыде на море.

В тридцати четырех остальных они принадлежат только русскому переводу.

Нередко подобные фигуры возникают как наиболее естественная, если и не единственная возможная, передача греческого текста, например:

28. Врач больного врачеваше (ἰατρός νοσοῦντα ἐθεράπευε — 116).

Это стремление к естественной форме выражения более ощутимо там, где перевод уклоняется от пословного соответствия оригиналу и, следуя нормам русской речи, включает те или иные дополнительные характеристики действия, но только в форме тавтологического акцента:

19. Восхоте убо и врач тако врачевати (ἐνεχεῖρηας μὲν οὖν ὁ ἰατρός τῇ θεραπείᾳ — 57). И на всяк день приходя к бабе и очи ея мазаше мастию (καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῇ χρίων);

104. Комар же победив льва, воструби и победную песнь воспет полете (καὶ σαλπίσας καὶ ἐπινίκιον ᾠσας ἔπτατο — 267).

Однако предположение о экспрессивной нейтральности некоторых типов таких структур в древнерусской литературе — лингвистическое недоразумение. Здесь же, в «Притчах», нейтрально-проходной характер тавтологических оборотов исключается хотя бы их логически акцентным, выделяющим назначением и обыкновенно несимметричностью греческому оригиналу:

56. В пленении градов нестяжательные [и] нищие удобнее убегают пленения, богatii же, богатества ради, работают в пленении (οἱ δὲ πλοῦστοι δουλεύουσιν ἀλισχόμενοι — 256) — Q;

³ Здесь не затрагиваются повторения композиционного порядка, выдвигающие сквозные сюжетные мотивы рассказа и предстающие как лексические скрепы, которые соотносят басенный финал с завязкой либо с обуславливающей экспозицией.

104. Паук же сеть извяза паутинную, в ню же летя, комар впаде и паук сего снде (в Аккурсиане лишь: ἀράχνης δὲ δεσμῷ ἐμπλακεῖς — 267) — Q.

Плеонастическая избыточность тавтологии также подтверждает ее акцентную преднамеренность:

114. На камени орел седяше... его же некто уби, стрелюю пострели (τοῦτον δὲ τις ἔβαλε τοξεύσας — 273) — Q;

131. Червь на землю пришед, глаголаше всем животным: «Врачъ есмь и зелия врачевския свем (ιατρός εἰμι φαρμάκων ἐπιστήμων — 287), подобен естъ врачеством Пеону, божиему врачу» (οἷός ἐστι ὁ τῶν θεῶν ιατρός Παίων) — Q.

О стилистической выделенности тавтологии могли бы свидетельствовать и реминисценции библийских формул:

37. Подобае добротворящим благодать за благодать воздаяти (δεῖ τοῖς εὐεργέταις χάριν ἀποδιδόναι — 176).

Наконец (и более всего), неизменная приуроченность таких фигур к композиционным узлам и идеологически концентрированным точкам рассказа вообще исключает какие бы то ни было основания говорить о повествовательно-нейтральном характере тавтологии.

Так, в заключении басни «О человеце и о псе» (125) вышвырнутый из окна поварни пес на вопрос приятеля: «Нако вечерял еси, о друже?» — «отвещав рече: „От великаго пития на пиру упихся досыта (ἐκ τῆς πολλῆς πόσεως μεθύσθεις ὡπὲρ χόρον...» — 283), ниже пути сего видех, откуда изыдох!“».

Или, например, в сентенции:

114. Притча являет, яко бедно естъ, егда кто от своих бедствует (δεινόν ἐστιν, ὅταν τις ἐκ τῶν οἰκείων κινδυνεύσῃ — 273).

Нетрудно уловить, что реальный семантический эффект, присущий подобным структурам, — это акцент «качественной спецификации», т. е. обнаружение субстанции или процесса как бы в их собственной, изначальной и потому истинной внутренней сущности. Именно поэтому для эффекта качественной спецификации столь обязательна ясная ощутимость опорномотивирующих и словообразовательных связей тавтологических компонентов, а равно и фоно-морфологического (а не этимологического!) их единства, но не характер их синтаксических отношений.⁴ И, конечно, особенно важна острота их столкновения, неотделимая уже от семантического и психологического наполнения контекста.

Конечно, тавтологические обороты могут обладать и той или иной мерою количественного акцента. Однако такой акцент, часто сопровождающий, а то и как бы заслоняющий более тонкий внутренний эффект качественной спецификации, не является ни обязательным, ни тем более единственным. Так, тавтологические структуры без интенсивно-количественного акцента приурочены обычно к началу повествования как средоточию экспозиции притчи или даже ее завязки, но прежде динамического развертывания самого конфликта:

78. Земледелатель некто копая землю, злато обрете (γεωργός τις σκάπτων χρυσὸν περιέσχε — 61).

Много острее тавтологические обороты на конфликтных точках рассказа — его драматических и гномических центрах: кульминации, развязке, сентенции:

140. Победивый же (алектор) на верх возлете, на высокой стене став, велегласно возгласи (μεγαλοφώνως ἐβόησε — 266). Орел же налетев и абие сего восхити;

⁴ Синтаксическое рассмотрение и классификацию «тавтологии» см.: А. П. Евгеньева. Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII—XX вв. М.—Л., 1963, с. 98—254.

89. Притча являет, яко сия вещи наипаче лукавным суть сопротив-
 ния, яже благим суть благопотребная (ἃ τοῖς χρηστοῖς ἐστὶν εὐερ-
 γητήματα — 124);

117. Притча являет, яко от рабов (τῶν οἰκετῶν — 218) сии несчаст-
 ливы суть, елицы в рабстве суще (ἐν τῇ δουλείᾳ) многая чада ра-
 ждают. — Т'.

(См. также выше № 56, 131, 37, 125, 114).

Что же касается синтаксической классификации тавтологических фи-
 гур, то едва ли она может быть функционально исходной и что-либо прин-
 ципиально решающей. Дело даже не в том, что тавтологический эффект
 здесь возникает прежде всего из лексико-семантической соотношенности
 одних и тех же корневых компонентов, а не из синтаксических шаблонов.
 Бесплодность синтаксической классификации и в том, что контекстуаль-
 ная соотношенность однокоренных слов может и не составлять синтакси-
 ческих сочетаний, либо лексикализуясь до единого фразеологического це-
 лого, либо (и чаще) оказываясь за пределами прямых синтаксических
 связей, не теряя, однако, экспрессивной выдвинутой и броского акцента
 (см., например, выше № 126, 56, 131, 37, 114, 117).

2. Внесение интенсивно-количественных и эмоциональных характеристик

Одним из обыкновенных средств экспрессивно-стилистического приспособ-
 ления текста Аккурсианы в переводе Гозвинского служила категория
 атрибута, особенно в форме интерполируемых этических и вообще психо-
 логических оценок, возможность появления которых была предопределена
 уже самой дидактической природою жанра. Вместе с тем введение неко-
 торых атрибутивных серий обуславливалось и неизбежностью конструк-
 тивно-речевого приспособления перевода.

Понятно, что все эти эмоциональные или этические оценки и характе-
 ристики были вполне традиционны и стереотипны, хотя в контексте упот-
 ребления отнюдь не лишены некоторой выделенности, а потому и сооб-
 щающей весомости. Однако и функции, и содержание таких акцентов
 едва ли могут квалифицироваться как произвольные решения перевод-
 чика даже в сопоставлении с нормальной практикой современного пере-
 вода, не говоря уже о том реальном фоне древнерусских литературно-ре-
 чевых традиций, на котором эти решения осуществлялись, а поэтому
 только и должны оцениваться и восприниматься.

Наиболее регулярным и стереотипным тут было нагнетение количест-
 венного («много», «паче»), а также интенсивности качественного («ис-
 тинный», «прямой») проявления признака или процесса, например:

23. Зиме же и ветру люту бывшу (χειμῶνος δὲ ἐπιγενομένου — 69);

111. Лисица же видевши неминующую беду (δρῶσα κίνδυνον — 203),
 пришедши ко льву, предати осла лву обещася;

40. Возненавиде убо бог его безстудство и неправду и не токмо сию
 (секиру) даде, но ниже истинную свою восприяти (ἀλλ' οὐδὲ τὴν οἰκείαν
 ἀπέδωκεν — 183);

1. Орел... лисицыны чада восхитив, вкупе со своими младыми
 птенцы пожре (ἅμα τοῖς αὐτοῦ νεοττοῖς ἐθοιγήσατο — 1).

Естественно, что в ряду подобных акцентов тематически выдвигаются
 и преобладают оценки эмоционально-психологического состояния или эти-
 ческие характеристики персонажей и ситуаций, например:

1. Лисица же видевши (выпавших из гнезда орлят), притече и ра-
 дуясь пред лицом орлим всех снеде (ἐπιδραμοῦσα ἐν ὄφει τοῦ ἀετοῦ πάντα
 κατέφαγεν — 1);

34. И лев радостно к лисице рече (καὶ ὁ λέων πρὸς αὐτήν — 154): «Кто ты, о изрядная, сице разделяти научи?»;

43. И сию с радостию взем (καὶ ταύτην ἀνελόμενος — 188), мигдалы и финики снеде — Q;

44. «... ныне ведом есть на смерть бесчестно» («... νῦν ἡγόμεν τὴν ἐπὶ θάνατον» — 216).

Аналогично:

53. «Лутче убо, — рекоша, — умрети единицею, нежели чрез все свое житие смущаяся дрожати» («... ἢ διὰ βίου τρέμειν» — 143) — T';

59. Она же умирающи восплакася и рече (ἡ δ' ἐαυτὴν ὠλοφύρετο — 77); «Отнележе бояхся, оттуду ничто же пострадах; откуда же не чаях зла получитьи, оттуду предана есть на смерть» (ὅποῦ ταύτης προδεδομένη).

Весьма приметны среди таких акцентов атрибутивные обороты, тяготеющие к фразеологии церковного лирического слога, но вне отражения какой-либо религиозной семантики или символики:

7. Лисица... нозе свои на кустовых терниях острых прободши (καὶ δὴ τοὺς πόδας ἐπὶ τοῖς ἐκείνης κέντροις αἰμάξασα — 19);

41. Осел... со вздыханием и стенанием горьким рече: «Ох мне, бедному!» (μετὰ στεναγμῶν ἔφη· «οἱμοὶ τῷ ταλαιπώρῳ...» — 190) — T';

69. Жена некая мужа пьяницу име, его же злую сию страсть отменить хотящи (τοῦ δὲ πάθους αὐτὸν ἀπαλλάξαι θέλουσα — 278), сиевое некое дело умудряся смысли;

133. Лисица коварственную хитрость лвову познавши (ἀλώπηξ τὸ τέχνασμα τοῦτο γνοῦσα — 147), прииде к нему на посещение;

137. Трубник полки собирая, пойман бысть от сопротивник, вопияше: «Не убийте мя, о мужи, всеу безвиннаго крови, ни единого бо от ваших убих!» («μὴ κτείνετε με, ὦ ἄνδρες, εἰκὴ καὶ μάτην. οὐδένα γὰρ ὑμῶν ἀπέκτεινα» — 289).

На этом фоне едва ли сколько-нибудь неожиданно появление в тексте Гозвинского заключительных афористических приговоров, почерпнутых из Евангелия и подкрепляющих нравственный вывод сентенции:

68. Притча являет, яко иже кто на кого лезть сошивает, сам себе пагубу устроивает, и ров изры, впадет сам в яму, юже сотвори — Q;

131. Притча являет, аще не наружу искусство, всяко слово праздно есть и суето; к сему подобно слово: врачу, и исцелися сам! — П'.

Интересна еще одна черта интерполируемых характеристик — их соотнесенность с жанровой композицией. В составе басенного рассказа такие интерполяции подчинены большему нагнетению конфликта и, как правило, оттеняют и усиливают негативный член басенной антитезы, например:

41. Осел... со вздыханием и стенанием горьким рече: «Ох мне, бедному! Лутче мне бысть у прежних господей пребывая жити, нежели у сего немилостиваго: сей убо, яко же вижу, и кожу мою напооследи изработает» («... βέλτιον ἦν μοι παρὰ τοῖς προτέροις δεσπόταις μένειν οὗτος γὰρ, ὥς ὁρῶ, καὶ τὸ δέρμα μου κατεργάζεται» — 190) — T'.

Напротив, вне корпуса басни, в сентенции, они уже подчеркивают и позитивное нравственное начало — служат выражению высшей нравственной справедливости, например:

1. Притча являет, яко иже дружба разоривши, аще и обидимых убегают отмщения, неможения ради [обидимых], но божия отмщения праведного не убегают (ἀλλὰ τὴν γε θεῖαν δίκην οὐ διακροῦσονται — 1).

Конечно, наряду с акцентно-стилистической обусловленностью внедрения атрибутивных характеристик предписывалось также повествовательно-речевым приспособлением русского текста. Но композиционно-

функциональная приуроченность и лексическое выражение атрибутивных характеристик тут иные. Это всегда логически прямые определения, появляющиеся при тех сюжетных реалиях, которые если и не составляют предмета фабульного конфликта, то во всяком случае вокруг которых этот конфликт или решающая ситуация организуется. Подобные реалии — как бы катализаторы басенного действия, и устранение их повело бы к беспредметности конфликта и к распаду повествовательной схемы. Но вот лексическое обозначение таких реалий в пословной передаче греческого текста подчас могло бы оказаться чрезвычайно неконкретным и неопределенным. Русскому переводу тут мало одного лишь номинативного указания на эти реалии, и отказ от их атрибутивного выделения воспринимался бы либо как речевая, либо даже логическая недостаточность текста. Например:

3. Она же (*лисица*) тако ис кладезя по ево плечах искочивши и скакше окрест устия кладезнаго веселящеся (ἐσχίπτα περὶ τὸ στόμιον ἤδομένη — 9);

119. Пастырь некий гоняше в лес овцы, распростре ризу свою под дубом и возшед на дуб, плоды желудные трясаше (καὶ ἀναβὰς τὸν καρπὸν κατέσειε — 224).

В русском тексте тут всякий раз так и напрашивается, даже необходимо, то самое видовое определение, которое у Гозвинского по обыкновению и сопутствует этой номинации, почти сливаясь с ней фразеологически.

Наконец, при сугубо окказиональных, ситуативно обусловленных функциях реалии (к тому же крайне отвлеченно означенной) логическое выделение могло быть дано и целой атрибутивной конструкцией:

129. Возрев же на него (*козленка*) волк, рече: «О сей, не ты мене лаеши и бесчестуеши, но место, на нем же стоиши!» (οὐ σὺ μὲ λαιδореῖς, ἀλλὰ ὁ τόπος — 100);

136. Земледелец разумев, змию не к тому злопамятствовать, прием хлеб и соль, положи на дире, иде же змей живяше (λαβὼν ἄρτον καὶ ἄλας ἔθηκεν ἐν τῇ τρώγλῃ — 51).

3. Синонимические пары

Наиболее приметны и регулярны в тексте Гозвинского двучленные, соединяемые союзом «и» структуры из синонимичных или хотя бы семантически сближаемых однопорядковых лексем и выражений, в той или иной мере отражающих обычные экспрессивные формулы русской книжности, — 123 пары, из которых лишь 12 восходят к тексту Аккурсианы. При этом на многих из таких выражений лежит отпечаток не только традиционности конструктивной, но и фразеологической устойчивости. А ряд из них повторяется и в тексте самого перевода:

68. Не подобает царя и владыку [ко] гневу и ярости (τὸν δεσπότην πρὸς δυσμένειαν — 269) подвизати — Q;

76. Жена волхвующи, гневны и ярости (μηνιμάτων — 56) божия пременити|обещающаяся;

1. Орел с лисицею содружившеся, близ себе жити начаша и утверждения нраве любве и дружбы (φιλίας — 1) сотворивше — Q;

122. Человек некто с сатырем дружбу и любовь (φιλίαν — 35) сотвори;

50. «Егда беда и нужда (κίνδυνος — 252) обдержевати мя начнет, уже не к тому мне удобное время во еже поощрити зубов, но наипаче готовым сущим боротися...».

Подобает ко всякой беде и нужи (πρὸς τὸν κίνδυνον) приуготвлятися;

54. Не подобает князем и богатым (τοὺς ἄρχοντας καὶ πλουσίους — 272) ревнуя завидети: к сей [им]⁵ зависти нужду и беду (τὸν κίνδυνον) поминающе, нищету и убожество (τὴν πενίαν) любить.

Насыщенность перевода подобными формулами очень значительна, и симметричные «синонимические пары» подчас оказываются в самом непосредственном соседстве — в пределах одной и той же фразы, предложения:

131. Лисица же отвечавши рече: «Како ты иных врачествуя, сам хром и безног сый, себе не уврачюеши и не исцелиши?» (χρὸν ὄντα οὐκ ἰάσω — 287) — T';

107. Притча являет, яко не ревнива суть и нежелательная (οὐκ ἔστι ζηλώτα — 194) корысть, бывающи з бедами и тяготами (τὰ μετὰ κινδύνων καὶ ταλαιπωριῶν κέρδη).

В тексте Аккурсианы аналогичные структуры немногочисленны, и всего лишь в 12 случаях (из 123) синонимичные пары перевода в той или иной мере обязаны греческому оригиналу, например:

51. «Ох мне, бедной и несчастной птице!» (οἶμοι τῷ ταλαιπώρῳ καὶ δυστήνῳ πτηνῷ — 271) — Q;

82. Наипаче друг ему есть и сожитель (μάλα φίλον εἶναι αὐτῷ καὶ συνήθῃ — 75).

Еще реже — всего лишь дважды — можно отметить, как несинонимичные и несимметричные сочетания слов оригинала трансформируются переводом в синонимичные:

69. Похмельна его от пьянства узревше и яко же мертва и нечюствена (καὶ νεκροῦ δίκην ἀναίσθητοῦντα — буквально: «и, как труп, бесчувственного» — 278) на рамо вземше, на окопище погребальное принеши — Q.

Но обычно синонимические пары возникают как двукратная, симметрично акцентированная передача какого-либо слова (100 случаев) или синтагмы (10 случаев) оригинала, само же структурное развёртывание таких пар могло быть довольно разнообразным. В историко-лингвистическом плане интересны случаи, когда один из членов синонимической пары в тексте Гозвинского соответствует архаической традиции передачи греческого слова русскими книжниками, тогда как второй — его более современному аналогу, например:

6. Притча являет, яко лукавии человецы не ради благоразумия и благоизволения творят советы (οὐ δὲ εὖνοιαν... ποιοῦνται συμβουλίας — 17), ради же своего полезного.

«Благоразумие» как поморфемный эквивалент-калька εὖ-νοια (т. е. «благоволение», «доброжелательность») отмечают «Материалы» И. И. Срезневского,⁶ тогда как «благоизволению» в них соответствует εὐ-δοκία (т. I, стб. 99).

96. Рече срам: «Но аз убо на сипевых исповеданиях и уговорех (ταῖς ὁμολογίαις — 111) вниду, яко да аще похоть блуда не внидет».

Передача ὁμολογία как «исповедание» (т. е. «признание чего-либо») неоднократно отмечается Срезневским (т. I, стб. 1128), также Истриным.⁷ Но второй, корректирующий перевод Гозвинского как «уговор» — современнее, да и очевидно строже: ὁμολογία — это прежде всего «договоренность», «соглашение», «условие».

131. Притча являет, аще не [наружю]⁸ искусство, всяко слово праздно есть и суетно (πᾶς λόγος ἀργὸς ὑπάρχει — 287).

⁵ В списке: «их».

⁶ Срезневский И. Материалы, т. I, стб. 102 (далее — в тексте).

⁷ В. М. Истрин. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе, т. III. Л., 1930, с. 132.

⁸ В списке: «содержу».

Перевод ἀργός как «праздный» опять-таки отыскивается у Срезневского (т. II, стб. 1367) и у Истрина.⁹ Но в сентенции ἀργός — это «не имеющий ценности», «бесполезный», и поэтому синонимически уточняющий акцент «суетный» тут и вернее, и актуальнее.

В функциональном плане синонимические пары тоже не однородны.

Только относительно немногие из них могут быть объяснены информационно-логическими мотивами — стремлением как бы охватить разные лексико-семантические варианты того или иного слова оригинала или даже, может быть, колебаниями в выборе одного из таких вариантов:

43. «Имаши, о Ермисе боже, по моей молитве и обещанию» (τὴν εὐχὴν — 188);

34. И лев радостно к лисице рече: «Кто ты, о изрядная, сиче, разделиши научи?». Она же рече: «Ослов случай и злострастие» (ἡ τοῦ ὄνου συμφορά — 154);

17. Притча являет, яко не подобает неразумно и неразумительно (ἀπερίσκεπτος — 43) приступати к вещам.

В то же время (как это и вообще присуще переводу Гозвинского) при переводе греческого слова тут нет автоматического стереотипа: однословная или семантически дублируемая передача греческой лексемы определяется ситуацией. Так, например, χειμῶν («зима», «зимняя пора»; «буря», «непогода», «ненастье») в сценах кораблекрушения Гозвинский почти непременно переводит двумя синонимами:

23. Зиме же и ветру люту бывшу (χειμῶνος δὲ ἐπιγενομένου — 6 кораблю же уже хотящу погрузитися. . .;

38. Ветру же и зиме лютей суще (χειμῶνος δὲ σφοδρῶ χειμῶνο 181) и кораблю бедствующу.

Исключение единственное:

45. Зиме же зельне сущи (χειμῶνος δὲ σφοδρῶ γενομένου — 223) и кораблю бедствующу.

Там же, где вмешательство бури не обязательно, а предполагается только холод или ненастье, Гозвинский ограничивается однословной передачей — «зима»: ¹⁰

72. Отвешавши же ворона к ластовице рече: «Но убо твоя красота в весное время процветает, мое же тело и зиму удобе претерпевает» («... τὸ δὲ ἐμὸν καὶ χειμῶνι παρατείνεται — 258) — Q;

122. Зиме же и мразу сущу (χειμῶνος δὲ καὶ ψύχους γενομένου — 35), человек рuce свои согреваше, принесе ко устом дыша — Q.

Но вот перевод с поправкой на иные, более привычные для переводчика представления и климатические условия:

130. Во время осени и зымы (χειμῶνος ὥρα — 114) и пшеницам поспевшим, муравьи зимою от трудов своих питахуся — Q.

Правда, в греческом тексте все много иначе: χειμῶνος ὥρα τῶν σίτων βράχυντων οἱ μύρμηκες ἔψυχον, — букв.: «В зимнее время, когда намокло зерно, муравьи (его) сушили». Но пока важно отметить лишь смещение передачи самого χειμῶν как «осенней непогоды», очевидно сообразуемое с переводческой и интерпретацией контекста в целом.

Конечно, синонимические пары перевода Гозвинского не адекватны семантике оригинала и в некоторых других случаях, когда они трансформируют детали древнегреческого рассказа в сторону более привычных на Руси представлений и речевых стереотипов, — к примеру:

134. Волк... слышит паки бабу утешающую и играющую (ἀκούει πάλιν τῆς γράβς κολαχευούσης — 163) со отрачатем.

⁹ В. М. Истрин. Хроника. . . , т. III, с. 31.

¹⁰ Ср. у Памвы Беринды: «Зима: непогода, студень» — Лексикон словенороский Памви Беринди. Київ, 1961, стор. 43.

Однако *κολακεύω* — это «льстить», «заискивать».

112. Притча являет, яко неподобающее и непользовательное есть лукавство (*ἀτιθάσσευτός ἐστιν ἢ πονηρία* — 206), аще и множайшими благодеяньми убогатиши.

ἀτιθάσσευτος — «неукротимо дикий», «неприручаемый».

Но обыкновенно хотя бы один из компонентов синонимической пары в тексте Гозвинского опирается на точный перевод соответствующего слова оригинала, тогда как другой (обычно второй) оказывается даже не семантическим вариантом, а скорее ситуативным уточнением, привносимым переводчиком и выходящим за смысловые границы греческой лексемы. Например:

119. Случися им (овцам) и ризы снести и сожвати (*συγκатаφαγόντα* — 224);

87. Волку же вострубившу и завывшу (*ἀβλοῶντος* — 99);

75. Госпожа, не ведущи и не слышащи (*ἀγνοῶσα* — 55) алекторова гласа, глубочайшею ночью и ранее (*ἐννυχώτερον*) сих возбужати начат — *Т'*.

Первый из синонимов прежде всего и представляет основной, эквивалентный перевод оригинала, тогда как второй — это как бы видовая реализация первого, интерполируемая переводчиком сообразно предметной обстановке и обстоятельствам фабульной ситуации. Некоторые же из таких синонимических компонентов и здесь вводятся ради большей внутренней согласованности в мотивах самой фабулы. Так, в басне «О секущем дрова и о Ермисе», в которой один из дровосеков пытается обмануть Гермеса и заполучить «златую секиру», в переводе читается: «Возненавиде убо бог его безстудство и неправду» (40), тогда как в оригинале сказано лишь: *τῇ τοσαύτῃ ἀναίδεια* (183), т. е. «столь великое бесстыдство».

Но основное назначение синонимических пар в тексте перевода экспрессивно-подчеркивающее. Это вполне традиционные формулы книжной славяно-русской речи. Они усиливают в повторении тот или иной повествовательный мотив или этическую оценку, в чем по преимуществу и состоит объяснение синонимичного, дублирующего компонента:

1. (Лисица) издалеча став, еже и немощным есть удобно, сопротивника своего и врага безсечествуя проклинаше (*τῷ ἐχθρῷ κατηράτο* — 1);

39. Болящий же рече: «Дрожанием многим содержим и дряхлостию мучим» (*φρίκη συσχεθεὶς εἴπε σφοδρῶς διατετινάχθαι* — 180);

104. (Камар ко льву): «Кая ти есть сила и крепость? (*τίς σοὶ ἐστιν ἢ δύναμις* — 267), яко дереши нохтями и грызеши зубами? — сие и жена, с мужем бранящися, творит».

Обычно такие конструкции отмечают эмоционально-психологические реакции или состояния персонажей, подчеркивают и нагнетают нравственные оценки и характеристики:

5. Паки: кот иную вину наносит, яко нечестив еси и не чист естеством (*ὡς ἀσεβὴς εἶη περὶ τὴν φύσιν* — 16) — *Q*;

98. Притча к мужу-злодею, лицемерствию и лукавством (*δι' ὑποκρίσεως* — 166) уловляющему и прельщающему (*ἐνεδρεύοντα*);

109. Притча являет, яко некие от ненаказанных и буйх (*τῶν ἀπαιδεύτων* — 199), извне некто мянщися быти, от своего же блядословия обличаются.

В глагольных же парах явно улавливается внутреннее поэтапное расчленение действия и акцентирование его результатов:

59. Приплывшим же неким и сие смотряющим и уразумевши, застрелиша ю (*καὶ τοῦτο στοχασάμενοι αὐτῆς κατετόξευσαν* — 77);

66. И своею силою, елико име, стиснув змию и удави и уби (πίεσας φονεύει — 211) — *T'*;

82. И дельфину убо о сицевой его лжи негодовав, пифика погружая в мори потопи и уби (βαπτίζων αὐτόν ἀπέχτεινεν — 75).

Иногда же второй из синонимов как бы проявляет метонимическую игру смысловых оттенков слова в оригинале:

10. Лисица в дом пришедши коцунника некоего скомороха... обрете главу хари, художествене содеянною, юже руками приимши, рече: «О сицевая глава, точию мозгу и разуму не имат!» (ὦ οἷα κεφαλῇ, καὶ ἐγκέφαλον οὐκ ἔχει — 27) — *Q*;

113. Вмале же познавше, яко сие животное ярости и желчи (χολῆν — 210) не имат.

Или же используется для интонационно-ритмического равновесия, симметрии:

47. «О чадо! уже познах, яко не токмо видения и зрения не имаши (οὐ μόνον ὅψεως ἐστέρησαι — 234), но уже и слышания и обоняния лишился еси!».

Что касается композиционного размещения синонимических пар, то они, как правило, тяготеют ко второй половине рассказа, — ситуациям интенсивного обнаружения конфликта, а также гномическим центрам притчи, ее «пуанту» и нравоучению.

Синонимические повторения в начале басни можно отметить, только когда оно включает их как фразовые стереотипы либо когда экспозиция рассказа представляет нечто из ряда вон выходящее:

122. Человек некто с сатырем дружбу и любовь сотвори;

76. Жена волхвующи, гнев и ярости божия пременити обещающаяся.

Но подобных примеров единицы — всего 6.

Заметно чаще, 16 раз, синонимические акценты приходятся на завязку фабулы, отмечая то драматизм окружающей обстановки, то критическое состояние самих персонажей:

82. Сущим же им у урочища у Суния Аттического, зиме и ветру зелну случися быти, и караблю разбившуся и всем плавающим погрузившимся и утопающим, погрузися утопая и пифик.

Много регулярнее, до трети синонимических пар (37 случаев), приходится на ядро фабульного конфликта — единственного нетрафаретного элемента жанровой композиции. Однако при довольно разнообразном динамическом и семантическом наполнении кульминации здесь все-таки оказывается характерной кульминация чего-либо этически несообразного, будь то поведение и уловки персонажей или их намерения, помыслы, утверждения и под. Обнажение их нравственной несостоятельности и составляет развязку фабулы:

6. Лисица в сеть впадши, и отсекиши у нее ошиби, побеже, срамное и безчестное (ἀβίωτον ὑπ' αἰσχύνης — 17) мняше себе быти житие; помысли убо научити иных лисиц, да сотворят сие, яко да общею страстию прикроет свой студ. И тако всех собрав, похвалает им ошиби отсецати, глаголя, яко не точию непотребный и непригожей (ἀπρεπὲς) есть сей уд, но еще и лишняя тягота волочащаяся. Уразумевши же некая от них, отвещав рече в ней: «О ты, но аще бы тебе сие не случилось, не бы ты нам сие сотворити [сов]етовала!» — *T'*.

Иногда же, при двувершинной композиции фабулы, кульминация предстает как завершение первого этапа рассказа, будучи вместе с тем той сюжетной посылкой, соотнесение с которой и составляет окончательное завершение притчи.

Так, в басне «О псе и о волке» (№ 31) застигнутый врасплох пес:

«...моляше волка, дабы его не снел: „Ныне бо, — рече, — худ и тонок есмь и сух (λεπτός εἰμι καὶ ἰσχύς — 137). Аще же мало пождеши, хотят мои господие творити брак, и аз тогда многие яди, тучнейши и тебе сладчайшии брашном буду“. И волк веровав словесем его, отиде» — Q.

Естественно, что, когда волк вернулся напомнить псу о прежних обещаниях, тот ответил насмешкой: «О волче, аще по сем времени пред дворischem узриши мя спяща, уже к тому браков не жди».

Синонимические повторения сопровождают и другие формы фабульной кульминации. Например, связанное со свойственной эзоповской басне свернутостью композиционной структуры такое завершение рассказа, когда моментом кульминации фабульный динамизм исчерпывался, а повествовательная инерция резервировалась для заключительного «пуанта» либо для формулы нравственного урока, которые из этой ситуации вытекают и за ней непосредственно следуют:

103. Бог же разгневался и негодовав о его любостяжательстве, преврати его в сиевое животное, иже ныне муравль нарицается. И сей свой убо образ премени, но обычая не премених, ибо и донныне нивы обходя чюжая труды собирает, себе сокровищует.

Значительная часть, до трех десятков, синонимических повторений приходится на заключительные стадии басенного рассказа. При этом лишь немногие из них приводят к сюжетной истерпанности повествования, например:

24. Курица же отолстевши и тучна сущи, ниже единого яйца днем родити возможно;

75. Госпожа их, не ведущи и не слышащи алекторова гласа глубочайшею ноцию и ранее сих возбужати начат — T'.

Несравненно характернее здесь в соответствии с дидактической природою жанра выражение позднего сожаления и раскаяния или даже негодования незадачливого персонажа, либо назидательное, а то и глумливое наставление торжествующего:

63. Он же з жалостию возвращься рече: «Праведно убо пострадах: что мне треба бысть и чесо ради своего губителя извлечь потщахся?» — T'.

81. Он же к ним рече: «О злейшая животная, ибо крадущаго воски ваша цела отпустисте, мене же промысляющаго и радеющаго вами узвисте!» — T'.

26. Лисица же рече: «О обезяно! сиевое ты буйство и безумие имея, безсловесными звери царствовать восхоте?!» — П'.

68. Волку же лежащу предо львом, лисица же смеющься рече: «Тако не подобает царя и владыку [ко] гневу и ярости подвизати, но ко благоутробию!» — Q.

И, наконец, совершенно обычно (36 раз) появление синонимичных пар в басенных предложениях как этическом ключе жанра:

35. Притча являет, яко инем трудившимся, и инии же приобретают и корыстуют (κερδαίνουσιν — 152).

* * *

Экспрессивно-акцентное осложнение переводного текста — это очень осторожная, но вместе с тем весьма обычная форма повествовательной адаптации пословного перевода. Ничего не меняя и не смещая в движении событий рассказа, такое приспособление наделяло переводной текст теми или иными логическими акцентами, привычно устоявшимися характеристиками реалий и наиболее ходовыми экспрессивными формулами, свой-

ственными древнерусской литературе, аппаратом которых умело и в то же время сдержанно и осмотрительно пользуется переводчик. Будучи напращивающимися, даже неременными для древнерусского книжника, такие включения чрезвычайно стереотипны и в общем исчерпываются относительно небогатыми лексическими сериями и всего лишь немногими конструктивными типами.

Но, конечно, масштабы принорования перевода к экспрессивно-стилистическим формам и традициям древнерусской литературы тут не в малом предопределялись композиционно-сюжетным и речевым устройством оригинала. При схематическом лаконизме греческого текста Аккурсианы и крайней ограниченности, а потому и уплотненности повествовательного пространства, когда рассказ сжат до перечня сюжетных событий и вся басня передко вмещается в структуру двух-трех не очень развернутых предложений, переводчик (сколь он придерживается природы и духа своего иноязычного источника) по необходимости мог прибегать лишь к мелким, композиционно точечным вкраплениям по канве пословного перевода, экспрессивно окрашивая только наиболее существенные мотивы или моменты жанровой схемы.

Однако все это — лишь самые элементарные формы стилистической адаптации пословного перевода, тогда как системе древнерусского пословного перевода были присущи и более глубинные, хотя столь же экономные, приемы и способы повествовательного приспособления текста — его композиционно-нарративной и сюжетно-идеологической адаптации. Но их рассмотрение — уже особая тема.